

НИНА КРЕЙДИЧ

ЧИТАЯ ПИСЬМА ЧАЙКОВСКОГО

*Посвящается поклоннице П. И. Чайковского Л. А. Новиковой,
без которой этот очерк не мог бы появиться*

Наверное, немного найдется имен, более известных и в России, и за границей, чем имя Петра Ильича Чайковского. Все знают и почти все любят его музыку, но много ли кто представляет, что за личность стоит за этим именем, что чувствовал сам Чайковский, создавая свои произведения, каковы были его политические взгляды, его отношения с родственниками, с коллегами по Московской консерватории, с братьями по искусству. А ведь его переписка дает блестящую возможность ответить на эти вопросы и на десятки других.

Немного кто писал столько писем, писем таких длинных, часто до предела откровенных. А ведь еще есть дневник, который вел Чайковский, правда, отнюдь не аккуратно, не постоянно. Ко всему этому следует еще прибавить те комментарии, которыми снабдил переписку своего старшего брата Модест Ильич Чайковский, с которым композитор был в самых душевно близких отношениях.

Разные читатели по-разному оценят эту переписку, каждый обратит внимание, отдаст предпочтение тому, что ближе его внутреннему миру, его убеждениям и взглядам. Но, наверное, никто не пройдет мимо отношения Чайковского к России, к русскому народу. А сколько в его письмах свидетельств острого чувства национальной принадлежности! В роду Чайковского был предок с отцовской стороны – православный шляхтич, который, как пишет Модест, “ходил с Петром под Полтаву, в чине сотника”, но упоминания о польском происхождении сердили Петра Ильича, который считал себя русским и гордился этим. (Кстати, точно так же относился к своему турко-греческому происхождению художник Архип Иванович Куинджи. Он тоже сердился, когда кто-то подвергал сомнению его принадлежность к русской нации.) Ведь родился композитор в одном из “медвежьих углов” России, в Вятской губернии, на территории которой находился в 1840 году Камско-Воткинский завод. “Трогательная, совершенно исключительная привязанность ко всему русскому была присуща Петру Ильичу до могилы”, – свидетельствует Модест Ильич.

А вот запись из дневника самого Чайковского, сделанная в 1873 г. в Швейцарии: “Среди этой величественной природы я всей душой стремлюсь в Русь, и сердце сжимается при представлении ее равнин, лугов, рощей. О милая родина, ты во сто крат милее и красивее этих чудных уродов – гор, которые, в сущности, ничто иное, как окаменевшие конвульсии природы. У нас ты так спокойно прекрасна!!”

А приехав в Венецию в следующем, 1874 г., Чайковский пишет: “Если бы пришлось прожить здесь неделю, то на пятый день я бы удавился с отчаяния...”

Чайковский будто нарочно выбирает самые красивые города Европы, чтобы писать о том, как он скучает о России. Вот, например, что он пишет из Неаполя: “Я дошел до такого состояния, что ежедневно проливал слезы от тоски по родине...”

После прочтения “Смерти Ивана Ильича” Чайковский пишет в дневнике: “Величайший из всех писателей, когда-либо и где-либо бывших, — есть Толстой. Его одного достаточно, чтобы русский человек не склонял голову, когда перед ним вычитывают все великое, что дала миру Европа...”

Находясь за границей, Чайковский всей душой переживал все, связанное с Россией. В 1870-х годах его волновал ход русско-турецкой войны. Вот как он отреагировал на взятие русской армией болгарского города Плевны: “Я чуть не бросился в объятия к кельнеру, сообщившему, что “Плевна пала”.

Письма Чайковского пестрят объяснениями в любви к России: “Как бы я ни наслаждался Италией, какое бы благотворное влияние ни оказывала она мне теперь, — все-таки я остаюсь и навеки останусь верен России... Я еще не встречал человека более меня влюбленного в матушку-Русь вообще и в ее великорусские части в особенности... Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи... Напрасно я пытался бы объяснить эту влюбленность теми или другими качествами русского народа или русской природы. Качества эти, конечно, есть, но влюбленный человек любит не за них, а потому, что такова его натура, потому что он не может не любить...”

А дальше Чайковский пишет те слова, которые как нельзя более злободневно звучат сегодня, когда определенная категория населения России высшим счастьем считает жить за границей, все меряет по заграничным меркам, посылает учиться своих детей за границу, при каждом удобном случае ввертывает в свои рассказы: “Когда я был во Франции...”, “Когда я летал в Америку...” и т. п.

Вот эти слова: “Меня глубоко возмущают те господа, которые готовы умереть с голоду в каком-нибудь уголку Парижа, которые с каким-то сладострастием ругают все русское и могут, не испытывая ни малейшего сожаления, прожить всю жизнь за границей на том основании, что в России удобств и комфорта меньше. Люди эти ненавистны мне; они топчут в грязь то, что для меня несказанно дорого и свято... Я бы пришел в ужас, если бы меня приговорили вечно жить даже в такой чудной стране, как Италия...”

“В оправдание” сегодняшним Иванам, не помнящим родства, надо заметить, что не по уголкам Парижа они ютятся, а строят виллы на Лазурном берегу и в тому подобных местах.

Любителем всего русского был Чайковский и в музыке. Вот его признание в одном из писем: “Относительно русского элемента в моих сочинениях: мне нередко случалось прямо приступать к сочинению, имея в виду разработку той или иной понравившейся мне народной песни. Иногда это делалось само собой, совершенно неожиданно. Что касается русского элемента в моей музыке, т. е. родственных с народной песней приемов в мелодии и гармонии, то это происходит вследствие того, что я вырос в глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки; что я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях, что, одним словом, я РУССКИЙ в полном смысле этого слова”.

Народность музыки Чайковского отмечали и зарубежные музыкальные критики. Вот что писал 8 января 1888 г. немецкий профессиональный музыкант в Лейпцигской газете: “Чайковский стоит на почве народной музыки; но он не говорит на грубом мужицком языке в гостиную; у него народный элемент одухотворен, просветлен и ярко отражается в его произведениях в истинном своем виде, — эта черта у Чайковского общая с другими великими композиторами”.

Уже упоминалось, как рад был Чайковской нашей победе над турками в битве под Плевной. О той же войне 1887–1888 годов он писал: “Не сомневаюсь, что, в конце концов, Россия и вообще славянский мир возьмет свое, из того уж, что на нашей стороне правда, честность, истина. Я рад, что во время войны буду находиться в России. Много неприятных минут пришлось мне

вынести на чужбине, видя то злорадство, с которым принимались везде известия о наших малейших неудачах, и, наоборот, злобу, когда на нашей стороне была победа”.

И еще раз он пишет о русской природе: “Я люблю нашу русскую природу больше всякой другой, а русский зимний пейзаж имеет для меня ни с чем не сравнимую прелесть. Это, впрочем, нисколько не мешает мне любить Швейцарию и Италию, но как-то иначе”.

Много путешествуя по Европе, Чайковский видел, “какая бездна разделяет” нашего “мужика и его быт от французского поселянина”. И болит у него душа за этого “нашего мужика”, умиляется он “смирением и долготерпением русского народа”.

Поселившись в Майданове (рядом с Клином) в 1885 г., он пишет фон Мекк: “Избы в здешней деревне самые жалкие, маленькие, темные, духота в них должна быть ужасная... Не знаю почему, но народ здесь особенно бедный. Большинство бедствует... Между тем, и это всего замечательнее, все они — и старики, и взрослые, и дети — имеют вполне счастливый и довольный вид, нисколько не жалуется на горемычную судьбу свою... У детей удивительно симпатичные лица. Жалко смотреть на этих детей, обреченных жить материально и умственно в вечном мраке и духоте. Хотелось бы что-нибудь сделать, и чувствуешь свое бессилие...”

А вот как пишет уже 50-летний Чайковский той же фон Мекк: “Вы не можете себе представить, как я стремлюсь в Россию и с каким ощущением блаженства думаю о моем деревенском уединении. Между тем в России теперь что-то неладное творится. Но ничто не мешает мне любить ее какой-то страстной любовью”. В 1890 г. Чайковского пригласили на гастроли в США. Народ этой страны оставил у него самые благоприятные впечатления. Американские порядки, нравы и обычаи он называет “симпатичными”. “Но, — продолжает он, — всем этим наслаждаюсь подобно человеку, сидящему за столом, уставленным чудесами гастрономии, но лишённого аппетита. Аппетит во мне может возбудить только перспектива возвращения в Россию”.

Завершая тему отношения Чайковского к России, нельзя не процитировать его слова, написанные из Венеции 19 ноября 1877 г.: “Я люблю путешествовать в виде отдыха за границу; это величайшее удовольствие. Но ЖИТЬ можно только в России, и только живя вне ее, постигаешь всю силу своей любви к нашей милой, несмотря на все ее недостатки, родине”. И в этом Чайковский не одинок. Аналогичные признания делали многие русские. Среди них Маяковский и Есенин.

* * *

Болел душой Чайковский и за международный престиж России. Всегда чувствовал себя ее представителем и понимал, что, унижаясь сам, он унижает и свою страну. Европейская известность, а потом и слава пришли к нему не в один день. Часто находясь за границей, он мог бы заниматься саморекламой, однако напрочь отвергал этот путь: “Я бы очень помог распространению своих сочинений за границей, если бы делал визиты ТУЗАМ и говорил им комплименты. Но, Боже мой, до чего я это ненавижу! Если б вы знали, с каким оскорбительно покровительственным тоном они относятся к русскому музыканту...” Он отказывался “ездить к этим господам на поклоны”.

Русско-турецкая война, окончившаяся освобождением Болгарии от турецкого ига, не была легкой для России. Был, например, эпизод взятия турками болгарского города Елены, в битве за который 5 тысячам наших солдат противостояло 20 тыс. турков. Чайковский в тот момент был в Вене, которая не имела никаких мотивов очень любить Турцию, так как Австрия была, мягко выражаясь, ее соперником на Балканах. Тем не менее нелюбовь к России перевешивала, что выдавала пресса. Чайковский писал фон Мекк: “Если бы вы знали, как торжествуют и празднуют здешние газеты это известие!” А вот как он описывает реакцию Австрии на взятие русской армией Плевны: “Австрия ощущает себя как будто обиженной этим успехом и дует на нас за то, что турецкая армия в плену”.

Какая прекрасная иллюстрация к словам Александра III, сказанным в вещании своему сыну, о том, что у России нет друзей, ее огромность пугает;

что у нее есть только два союзника: русская армия и русский флот. Эти слова нашего замечательного императора-Миротворца Чайковский подтверждает не раз. Вот, например, что он написал в одном из писем: “Как ни глубоко я ненавижу англичан, но я не могу не находить, что в их озлоблении на Россию есть последовательность, есть смысл; они не могут не трепетать за свое политическое могущество, с которым связано и их материальное благоденствие”. Чайковский возмущается “бесстыдством англичан, которые систематически отравляют, развращают, разоряют сотни миллионов людей в Индии, а обвиняют нас в жестокости, называют варварами за то, что ценой невероятных жертв наши освободили турецких славян от притеснения. Что за возмутительно бессовестная национальность!” И если он может объяснить политику Англии, то Венеция его изумляет: “Неужели и мирная красивая Венеция, потерявшая некогда свое могущество в борьбе с теми же турками, дышит все-таки общему всем западным европейцам ненавистью к России?.. Когда же кончится, наконец, эта ужасная война?.. А между тем драться нужно до тех пор, пока в лоск не будет положен враг. Но как совестно требовать такой борьбы до “последней капли крови”, когда сам сидишь в уютной комнате, сытый, обеспеченный от непогоды и физического страдания!”

Завершилась война с Турцией 1877–1878 годов Сан-Стефанским мирным договором, условия которого не соответствовали значимости русских побед. Это был результат происков западных держав, не желавших усиления России. Чайковский был этим огорчен, но утешал себя: “Умеренностью Россия доказала всем здравомыслящим людям всего мира, что она дралась не из интереса, а ради великой идеи”.

Интересно впечатление Чайковского о Неаполе, высказанное в 1882 году. Прошло более ста лет, но сегодняшние посетители Неаполя иногда чуть ли не дословно повторяют слова Чайковского: “Народ здесь не симпатичный, нищие не дают прохода... Неаполь – город столь же изумительно красивый и чудный, сколь отвратительный по людям, населяющим его. Это громадная шайка хищников, которые не стыдятся самым грабительским образом относиться к иностранцам”.

XIX век давал повод испытывать гордость за Россию, за ее литературу, в частности: “Как приятно воочию убедиться в успехе нашей литературы во Франции! На всех книжных стеллажах красуются переводы Толстого, Тургенева, Достоевского, Писемского, Гончарова... в газетах постоянно встречаешь восторженные статьи о том или другом из этих писателей”. Радуюсь этому, Чайковский высказывает надежду: “Авось настанет такая пора и для русской музыки”. Судя по одной из музыкальных программ лондонского радио, такая пора наступила.

Путешествуя по Европе, знакомясь с народами разных стран, сравнивая их с русскими, Чайковский всегда отдает предпочтение своему народу: “Француз по природе своей не может дойти до тех геркулесовых столбов, которые доступны широкой и бесшабашной русской натуре”.

* * *

Не только внешняя политика России интересует Чайковского. Еще более живую реакцию вызывают у него события внутри страны. А время, в которое он жил, было беспокойным, богатым событиями, которые в конце концов привели к 1917 году. (Собственно говоря, было ли у России когда-нибудь время спокойное?!)

В 1878 г. госпожа Засулич стреляет в петербургского градоначальника Трепова. Суд присяжных ее оправдывает. Чайковский называет это оправдание “возмутительным фактом”. В период коммунистического правления едва ли кто-нибудь решился бы вслух согласиться с Чайковским. А по существу-то неужели террористы не заслуживают самого сурового наказания? Вот и Чайковский испытывал “отвращение к тем проявлениям антипатриотического духа, которыми ознаменовалось ее оправдание и московское побоище”. Этой кучке “сумасшедших представителей молодежи” Чайковский противопоставляет простой русский народ, который дал почувствовать сторонникам Засулич, “до какой степени их поведение не согласно со здравым смыслом и духом народной массы”. Какие точные слова нашел Чайковский для оценки по-

зиции присяжных! Она противоречит именно здравому смыслу и духу русского народа. А дальше он продолжает: “И как жаль нашего бедного доброго государя, так искренно желающего добра и встречающего такие убийственные разочарования и огорчения!”

В следующем году он пишет фон Мекк: “Без ужаса не могу взять в руки газету”. Он одобряет решительные меры, которые начинает применять правительство в борьбе с революционерами, но считает, что они все же недостаточны: “Зло мне представляется столь глубокими, что я далеко не вполне им доверяю. Мне кажется, что это паллиативы...” Он вновь отмечает доброту Александра II и предлагает: “Пусть призовет он на помощь всех нас, т. е. людей, преданных России и ему, — и только тогда прольется свет, и все дрянные зловредные букашки спрячутся в такие норки, из которых вредить они никому не в состоянии”.

Революционная пропаганда велась тогда, видимо, с большим размахом, потому что, будучи за границей, Чайковский читал прокламации нигилистов, как тогда их называли. И вот его оценка: “Возмутительнее и циничнее этого ничего нельзя выдумать. И как подобные революционеры отдаляют те реформы, которыми государь увенчал бы свою карьеру... Что социалисты творят от имени России — это глупо и нагло”. Их требования от Александра II созыва парламента Чайковский считает притворством. “Ведь им не это нужно: они хотели бы социалистической республики и даже анархии”. Допуская, что если в России когда-нибудь установится представительная форма правления, то первой задачей “будущей земской думы будет искоренение той отвратительной кучки убийц, которая воображает, что ведет за собой Россию. Эти господа не понимают, что мы все точно так же и даже, может быть, больше ненавидим их, чем государь, который олицетворяет Россию, в лице которого они оскорбляют и весь Русский народ. Конечно, они — СИЛА, но ведь только потому так, что бьют из-за угла. Ах, как все это отвратительно, и как сердце ожесточается против подобных соотечественников! Приходится радоваться, когда правительство принуждено приниматься за крутые меры”.

А менее чем через год, 8 февраля 1880 г., Чайковский жалуется в письме к фон Мекк, что не может плодотворно работать из-за “грандиозного безобразия, которое представляет в эту минуту наше бедное отечество. Руки опускаются и уста немеют. Я чуть с ума не сошел от злобы и бешенства по получении известия о новом покушении на жизнь государя. Не знаешь, чему удивляться: наглости и силе омерзительной шайки убийц или тому бессилию, которое обнаруживает полиция. Спрашиваешь себя, чем все это кончится, и теряешься. Все это нестерпимо больно и горько”.

Чем это кончилось — известно. 1 марта 1881 г. Александр II был смертельно ранен там, где стоит сейчас названный в народе “Спас-на-крови” на берегу канала Грибоедова в С.-Петербурге. Чайковский потрясен этим известием, которое дошло до него 3 марта, так как он находился за границей. В тот день он пишет отчаянное письмо Модесту, сожалея, что он не в России, чтобы быть ближе к источнику сведений, чтобы принять участие в демонстрациях новому царю, “жить общию со всеми своими жизнью”.

В своей переписке с фон Мекк Чайковский дает пример отношения простого народа к революционерам. Когда в Москве везли в тюремных каретах студентов, арестованных в Киеве за “беспорядки”, за ними молодые люди с криками “Ура!”, “Шапки долой”. Поняв, что везут в ссылку преследуемых правительством, “толпа с криком “Бей изменников белого царя” набросилась на толпу агитаторов и мгновенно смяла ее”. Таков был “ответ русского простого народа”, — подытоживает Чайковский.

В связи с новыми террористическими актами (убийства жандармских офицеров в С.-Петербурге, в Киеве) Чайковский пишет: “Это плоды оправдания Засулич. Общество само должно презирать и уничтожать всяких Засулич и подобных ей, а она теперь благодушествует в Женеве, когда в России льется кровь невинных жертв ее “геройства” и беспечности русского общества”.

Еще решительнее высказывается Чайковский после чтения брошюры, автор которой пытается УБЕДИТЬ нигилистов, что убивать нехорошо. Чайковский убежден, что это все равно что пытаться убедить тигра превратиться в овцу. “Нигилистов нужно ИСТРЕБЛЯТЬ — другого средства против этого зла нет”, — так заканчивает Чайковский свою тираду.

Он не только осуждает образ действий нигилистов, но и решительно не приемлет их теорию. О коммунизме он пишет так: “Более бессмысленной утопии, чего-нибудь более несогласного с естественными свойствами человеческой природы нельзя выдумать”. Он считает, что имущественное равенство приведет к отсутствию борьбы за существование, и жизнь превратится в “бессмысленное произрастание”. Узнав о ссылке некоторых участников революционных кружков, Чайковский пишет: “Этих мне не жаль. Им мы обязаны тяжёлым положением нашей родины... Это лентяи, проповедующие коммуны под фирмою социализма. Я их не люблю”.

Чайковский убежденный монархист и в теории, и на практике. Его сознательная жизнь прошла в царствование тех государей, которых он уважал и искренне любил. С Александром III он неоднократно встречался, а началось их знакомство с того, что Чайковский написал кантату для церемонии его коронации. Уже тогда он писал: “Я питаю к государю тем большую симпатию и любовь, что мне известно из достоверных источников, что он, со своей стороны, благоволил моей музыке, и я очень рад, что на меня пал жребий положить на музыку кантату”.

Взгляды Чайковского на государственное устройство, политический режим, на форму правления не оставались неизменными в течение его жизни. Он сам пишет об этом: “Было время, когда я совершенно искренне верил в то, что для устранения произвола и водворения законности и порядка необходимы политические учреждения вроде земских соборов, парламентов, палат и т. д., и что стоит только завести что-нибудь подобное, и все у нас будет великолепно, и все почувствуют себя счастливыми. Теперь не то, чтобы я перешел в лагерь ультраконсерваторов, но, по крайней мере, усомнился в абсолютной пригодности этих учреждений. Всматриваясь в то, что происходит в других странах, я вижу, что везде есть масса недовольных, везде борьба партий, взаимная ненависть и все тот же ПРОИЗВОЛ и тот же БЕСПОРЯДОК в большей или меньшей степени. Из этого я заключаю, что ИДЕАЛА правительственного нет, и что люди осуждены в этом отношении до конца веков испытывать разочарования. Изредка появляются великие люди, благодетели человечества, управляющие справедливо, пекущиеся об общем благосостоянии, а не о своем благе, но это – редкие исключения. Во всяком случае, я убежден, что благополучие больших единиц зависит не от ПРИНЦИПОВ и ТЕОРИЙ, а от случайно попадающих по рождению и вследствие других причин во главу управления личностей. Одним словом, человеку оказывает услугу ЧЕЛОВЕК же, а не олицетворяемый им принцип. Теперь, спрашивается, есть ли у нас человек, на которого можно возлагать надежды? Я отвечаю – да, и человек этот ГОСУДАРЬ. Он произвел на меня обаятельное впечатление как личность, но я и независимо от этих личных впечатлений склонен видеть в нем хорошего государя. Мне нравится осторожность, с коей он вводит новое и ломает старое. Мне нравится, что он не ищет популярности; мне нравится его безупречная жизнь и вообще то, что это честный и добрый человек”.

Чайковский неоднократно писал о своей любви к Александру II, например, в письме к фон Мекк: “Я, как и вы, большой сторонник нашей династии, люблю государя всем сердцем, питаю большую симпатию к наследнику и сокрушаюсь от образа правления, от которого и происходят все слабости, все темные стороны нашего политического развития”. Вероятно, Чайковский имеет здесь в виду мягкость политического режима, плохую, как он считал, работу полиции по защите России от революционеров, снабжаемых зарубежными банками или ограблением банков отечественных.

Любовь Чайковского к Александру III возникла не только в силу интуитивной симпатии. Он знал, какие неоценимые услуги оказал тот русскому искусству. В частности, русской опере, которая только по его воле и оказалась на главных сценах Москвы и Петербурга, где до этого монарха господствовали итальянцы. Александр III был первым из русских царей, кто стал собирать коллекцию русского изобразительного искусства и создал Русский музей в 1895 г., который до революции по праву носил его имя. Будучи чутким к реакции Европы на русские дела, Чайковский не мог не радоваться тому, как высок был авторитет России во всем мире в царствование Александра III: ни одно событие международной жизни не могло произойти вопреки его воле. Не могло не радовать Чайковского и то, что Александр III и его супруга, Мария Федоровна, так полюбили его оперы, что отрывки из “Пиковой дамы” и “Спя-

щей красавицы” исполнялись в Аничковом дворце (или в Гатчине во время их пребывания там) придворным оркестром каждое воскресенье.

* * *

По письмам Чайковского можно проследить его отношение к вере в Бога, к религии. Они были такими же не простыми, как непрост и своеобразен был характер и склад ума Чайковского. Сам он писал об этом в 1877 г. так: “Относительно религии натура моя раздваивалась; с одной стороны, мой разум упорно отказывается от признания истины догматической стороны православия, так и всех других христианских исповеданий. Например, сколько я ни думал о догмате возмездия и награды, смотря по тому, хорош человек или дурен, я никак не могу найти в этом веровании никакого смысла... За что награждать, да и за что наказывать? Столь же недоступна моему разумению и твердая вера в вечную жизнь”.

Вопреки сомнениям и признаниям в непонимании Чайковский посещал церковные службы и в России, и за границей и имел возможность сравнить православное богослужение с католическим, отдавая предпочтение первому. Католическая месса кажется ему лишенной торжественности, и, по его мнению, она не приобретает “предстоящих к собеседованию ксендза с Богом”. В другом письме он говорит, что католическая служба “далеко не имеет того торжественного обаяния, которым проникнута православная”.

Спустя несколько лет Чайковский возвращается к теме веры: “В голове темно, — да иначе и быть не может, ввиду таких неразрешимых для слабого человека вопросов, как смерть, ЦЕЛЬ и СМЫСЛ ЖИЗНИ, БЕСКОНЕЧНОСТЬ или КОНЕЧНОСТЬ ЕЕ, — но зато в душу мою все больше и больше проникает свет веры... Я все больше склоняюсь к этому единственному оплоту нашему против всяких бедствий. Я чувствую, что начинаю УМЕТЬ ЛЮБИТЬ БОГА, чего прежде не умел. Сомнения еще посещают меня; я все еще пытаюсь иногда своим слабым и жалким умом постигнуть непостижимое, но все громче и громче начинает доходить до меня голос божественной правды. Я уже часто нахожу неизъяснимое наслаждение в том, что преклоняюсь перед неисповедимую, но несомненную для меня Премудростью Божией. Я часто со слезами молюсь Ему (где Он?, кто Он? Я не знаю, но я знаю, что Он есть) и прошу Его дать мне смирение и любовь, прошу его простить меня, вразумить меня, а главное, мне сладко говорить Ему: “Господи, да будет воля Твоя”, — ибо знаю, что воля Его Святая”.

В том же 1881 году он пишет профессору МГУ Рачинскому С. А.: “Быть может, благодаря удалению от суетного вращения среди городской толпы, я все более и более проникаюсь новым и сладостным чувством, прежде находившимся во мне лишь в зародыше. Я стал веровать в Бога и любить Его, чего прежде не умел. Если он пошлет мне силы, то я, согласно высказанному Вами желанию, потружусь для церковной музыки”.

Как раз в период активной переписки Чайковского появилась книга Л. Толстого “Исповедь” и “Критика догматического богословия” (1880 г.) Чайковский ее прочел и в одном из писем излагает свои впечатления: “Она произвела на меня тем более сильное впечатление, что муки сомнения и трагического недоумения, через которые прошел Толстой и которые он так удивительно и хорошо высказал в “Исповеди”, и мне известны. Но у меня ПРОСВЕТЛЕНИЕ пришло гораздо раньше, чем у Толстого; вероятно, потому, что голова моя проще устроена, чем у него, и еще постоянной потребности в ТРУДЕ я обязан тем, что страдал и мучился меньше Толстого. При моем малодушии и способности от ничтожного толчка падать духом до стремления к НЕБЫТИЮ, что бы я был, если бы не верил в Бога и не предавался воле Его?”

Однако обретенная вера в Бога не мешала Чайковскому критически осмысливать содержание Библии: “Какая бесконечно глубокая бездна между Старым и Новым заветом! Читаю псалмы Давида и не понимаю, почему, во-первых, их так высоко ставят в художественном отношении и, во-вторых, каким образом они могут иметь что-нибудь общее с Евангелием. Давид вполне от мира сего. Весь род человеческий он делит на две неравные части: в одной нечестивцы (сюда относится громадное большинство), а в другой праведники, и во главе их он ставит самого себя... Грешники будут истреблены,

праведники будут пользоваться всеми благами земной жизни. Как все это не похоже на Христа, который молился за врагов, а ближним обещал не земные блага, а царство небесное! Какая бесконечная поэзия и до слез доводящее чувство любви и жалости к людям в словах: “Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные!” Все псалмы Давида по сравнению с этими простыми словами – ничто”.

Не только в письмах, но и в дневнике размышляет Чайковский о жизни, о вере. В 1887 г. такая запись: “Как жизнь коротка! Как много хочется сделать, обдумать, высказать! Откладываешь, воображая, что там еще впереди, а смерть из-за угла и подстерегать уже начинает. Ровно год я не прикасался к этой тетради, и как все переменялось! Как странно мне было читать, что 365 дней тому назад я еще боялся признаться, что, несмотря на всю горячность симпатичных чувств, возбуждаемых Христом, я смел сомневаться в его божественности. С тех пор моя РЕЛИГИЯ обозначилась гораздо яснее, я много думал о Боге, о жизни и смерти во все это время... Роковые вопросы – зачем, как, отчего? – нередко занимали и тревожно носились передо мной, РЕЛИГИЮ мою мне бы хотелось подробно изложить, чтобы самому себе уяснить свои верования и ту границу, где они начинаются вслед за умозрением. Но жизнь с ее суетой проносится, и не знаю, успею ли я высказать тот СИМВОЛ ВЕРЫ, который выработался у меня в последнее время”.

Очень любил Чайковский литургию Иоанна Златоуста и считал ее одним из величайших художественных произведений. “Если следить за службой внимательно, вникая в смысл каждого обряда, то нельзя не умилиться духом, присутствуя при нашем православном богослужении. Я очень люблю также всенощное бдение. Отправиться в субботу в какую-нибудь древнюю небольшую церковь, стоять в полураке, наполненном дымом ладана, углубляться в себя и искать в себе ответа на вечные вопросы: ДЛЯ ЧЕГО. КОГДА. ЗАЧЕМ. Пробуждаться от задумчивости, когда хор запоет: “От юность моя МНОЗИ БОРЮТ МЯ СТРАСТИ”, и отдаваться увлекательной поэзии этого псалма, проникаться каким-то тихим восторгом, когда отворятся царские врата и раздается: “Хвалите Господа с небес!” – о, все это я ужасно люблю, это одно из величайших моих наслаждений!” Остается только пожалеть, что за почти 80 лет безбожной власти русский народ утратил способность к таким “величайшим наслаждениям”. Может быть, за редким исключением.

Для завершения темы взаимоотношений Чайковского с религией еще одна длинная цитата: “Я не могу понять личного бессмертия. Да и как мы можем себе представить вечную загробную жизнь вечным наслаждением? Но для того, чтобы было наслаждение и блаженство, необходимо, чтобы была и противоположность его – вечная мука. Последнюю я отрицаю совершенно. Наконец, я даже не знаю, следует ли желать загробной жизни, ибо жизнь имеет только тогда прелесть, когда состоит из чередования радостей и горя, из борьбы добра со злом, из света и тени, словом, из разнообразия в единстве. Как же представить себе вечную жизнь в виде нескончаемого блаженства? По нашим земным понятиям, ведь и БЛАЖЕНСТВО, ЕСЛИ ОНО НИЧЕМ И НИКОГДА НЕ СМУЩАЕТСЯ, ДОЛЖНО, В КОНЦЕ КОНЦОВ, НАДОЕСТЬ. Таким образом, в результате всех моих рассуждений, я пришел к УБЕЖДЕНИЮ, что вечной жизни нет. Но убеждение – одно, а чувство и инстинкт – другое. Отрицая вечную жизнь, я вместе с тем с негодованием отвергаю чудовищную мысль, что никогда, никогда не увижу нескольких дорогих покойников”.

“Чередование радостей и горя” – так представляет Чайковский “прелесть жизни”. Судя по его письмам и дневникам, на его долю выпало много больше горестей, чем радостей. И вероятно, это хотя бы отчасти связано с особенностями его характера. Вот как он сам об этом пишет: “В моем характере есть отчужденность, страх людей, робость, неумеренная застенчивость, недоверчивость, словом, тысяча свойств, от которых я все больше и больше становлюсь нелюдим”. В письме к сестре Александре в 1867 г. Чайковский упоминает “страшные припадки ненависти к людям”. Наверное, эти “припадки” были очень редки, так как в сотнях писем, которые написал Чайковский, не встречается почти ничего, похожего на ненависть. Наоборот, удивляешься его доброжелательности к окружающим, желанию помочь и материально, и душевной поддержкой. Не будучи человеком богатым, Чайковский помогал нескольким молодым музыкантам получить образование.

А какой скромностью он обладал! Какие высокие требования предъявлял себе как музыканту. В 1875 г. он пишет Римскому-Корсакову: “Как я мелок, жалок, самодовольно наивен каюсь себе, когда сравниваю себя с Вами! Я чисто ремесленник в композиции, Вы будете артист – художник в самом полном смысле слова”.

С одной стороны, Чайковский жалуется на одиночество, а с другой, он неоднократно пишет, что одиночество – непереносимое условие, при котором он может быть счастлив.

В 1878 г. Чайковский пишет из Сан-Ремо, что, будучи физически здоров, он совершенно больной человек в духовном смысле: “Я в двух шагах от сумасшествия, Я могу жить только в безусловной тишине, в изолированности от шума и суеты большого центра и в покое абсолютном”.

Представить Чайковского в сегодняшней Вятке, где на улицах и площадях вещают динамики; где из храма искусств – филармонии – в течение многих часов подряд гремит музыка с такой громкостью, что поражаешься: как это стены-то еще не рухнули; где каждый владелец лавочки угощает прохожих чем-то, называемым им музыкой, чтобы заманить к себе и продать что-либо; где парки и стадионы по 10–12 часов подряд оглушают округу афро-американскими ритмами... И это не считая того, что проникает в квартиру сверху, снизу, сбоку... В сегодняшних условиях, когда законодательство не ставит никаких границ ни частным, ни юридическим лицам в звуковом загрязнении окружающей среды (не считая короткого периода для сна: с 22 до 6 часов), Чайковский существовать просто-напросто не смог бы! Недаром статистика свидетельствует об увеличении числа душевнобольных и о катастрофическом увеличении самоубийств.

* * *

Чайковский никогда не любил Петербург. Называл его “отвратительным” городом. Или еще сильнее: “Я ненавижу Петербург, и один вид его наводит на меня хандру и уныние”. “Пока я живу в этом отвратительном городе, я положительно несчастнейший человек. Все мне здесь противно, начиная с климата и кончая безалаберностью здешней жизни”. Подобные высказывания повторяются во многих письмах. И вот Чайковский переезжает в Москву. Как сказал Лев Толстой, любой русский, приезжая в Москву, не может не почувствовать, что это сердце его родины. Так ощущал Москву и Чайковский. Он пишет, что очень ее полюбил, что здесь чувствуется русская старина, что здесь соблюдаются русские обычаи, а московский говор он называл “настоящей музыкой” Но и Москва не излечила его от меланхолии: “Всю зиму я хандрил и иногда до последней степени отвращения к жизни, до призывания смерти”.

Первое время Чайковский живет в одной квартире с Н. Г. Рубинштейном, который сам пригласил его к себе. Кажется, что они близки, но Чайковский пишет брату: “Дружба моя с Н. Рубинштейном и другими консерваторскими друзьями основана единственно на том, что мы служим в одном месте. Я имею веские доказательства того, что никто из них не питает ко мне чувств нежной любви, в которой я весьма нуждаюсь”. И уже на следующий год после приезда в Москву Чайковский уезжает от Рубинштейна и снимает себе отдельную квартиру. Вот что он пишет в связи с этим брату: “Не могу высказать тебе ощущение того сладостного покоя, почти счастья, которое я испытываю в моей маленькой и тихой квартирке, когда прихожу вечером домой и беру в руки книгу”. А ведь были люди, которые знали его за весельчака, шутника, любителя выпить в компании... Впрочем, и в эти годы в нем изредка просыпался ученик Училища правоведения, способный откалывать коленца. Вот что он пишет брату в 1878 г.: “Сашины именины прошли довольно весело. Вечером был настоящий бал с оркестром жидов. Я довольно робко пустился в пляс, но потом, как это всегда бывает в Каменке (имение семьи его сестры Александры на Украине. – Н. К.), увлекся и плясал страшно неумоимо, с разными беснованиями и школьничествами”. Чайковский сам с грустью отмечает, что не осталось в нем “веселости, охоты дурачиться”. “Жизнь страшно пуста, скучна и пошла... Единственно, что осталось в прежнем виде – это охота писать”. “Несчастливым” называет Чайковский свой нрав, “склонный пре-

увеличивать все хорошее и недостаточно радоваться настоящему”. “Я стал очень недоверчив, склонен сомневаться в дружбе людей”, но зато он очень ценит, когда получает доказательства искреннего тепла по отношению к себе.

Стремление к одиночеству шло у него параллельно с жадной дружеского общения, а скромность, требовательность к себе в музыке сочеталась с сознанием своей значимости. Он пишет из Парижа в 1877 г.: “Любезничать, подлизываться, знакомиться со всякой сволочью – это и есть то, что так противно моей натуре... Для меня невыносимо стоять скромно перед каким-нибудь Сен-Сансом и чувствовать на себе его покровительственный взгляд, когда в глубине души я считаю себя на ЦЕЛЮЮ АЛЬПИЙСКУЮ ГОРУ выше его”. Чайковскому в это время 37 лет, настоящая слава еще не пришла к нему, но он уже уверовал в свои силы, в свой талант.

Одиночество, недовольство работой (а Чайковский никогда не любил свою преподавательскую деятельность), женитьба, окончившаяся катастрофой, неприятности со здоровьем явились, вероятно, теми причинами, в силу которых Чайковский пристрастился к вину, о чем сам сообщает брату неоднократно. После отъезда Модеста он “тосковал до того, что стал пьянствовать. Только выпивши бутылку коньячка, я мог находить жизнь сносною”. Это помогало ему справляться со своей мнительностью: “Вдруг, ни с того, ни с сего, мне покажется, что никто, в сущности, меня не любит и любить не может, потому что я жалкий и презренный человек. И нет сил разуверить себя”. И Чайковский начинает выпивать перед сном несколько рюмок коньяка каждый день: “Я не могу обойтись без этого. Я бываю спокоен только тогда, когда немножко пьян, Я так пристрастился к этому тайному выпиванию, что один вид бутылочки с коньяком, который всегда держу при себе, меня радует. И письмо писать я могу только выпивши. Это служит доказательством, что я еще болен. В Париже, чтоб поддержать себя, мне пришлось бы пить с утра до вечера”. “Человек прибегает к вину, – объясняет Чайковский, – чтобы обмануть себя, доставить иллюзию довольства и счастья. И дорогой ценой достается ему этот обман. Реакция бывает ужасна. Но как бы то ни было, вино доставляет минутное забвение горя и тоски – и только”.

Понимая свое предназначение – писать музыку – Чайковский очень ценил время. Он пишет брату: “Неужели никто, кроме нас, не понимает, что из всех родов транжирства – транжирство времени самое безумное, и что те, кто у занятого человека отнимают его лучшие часы, суть изверги, для которых виселицы мало!”

С полной откровенностью раскрывает себя Чайковский в письме к фон Мекк в том же 1878 г.: “Я имею репутацию скромности... моя скромность есть ничто иное, как скрытое, но большое, очень большое самолюбие. Между всеми живущими музыкантами нет ни одного, перед которым я добровольно могу склонить голову. Природа, вложив мне в душу так много гордости, не одарила меня умением и способностью товар лицом показать. Я не умею заставить себя ценить. Я болезненно застенчив, быть может, от излишка самолюбия. Не умея идти навстречу к своей славе и добыть ее по собственной инициативе, я предпочитаю ждать, чтобы она пришла за мной сама... Я давно свыкся с мыслью, что мне не придется дожить до всеобщего признания моих способностей”.

К счастью, Чайковский в этом ошибся. К моменту написания этих строк Чайковскому оставалось еще жить 15 лет. И слава к нему пришла. И не только в России, не только в Европе, но и в Северной Америке, где слушатели встречали его с восторгом, а провожали еще с большим, где газеты соревновались между собой в хвалебных отзывах. Но знакомство со славой не вскружило голову Чайковскому. Ему понравился Нью-Йорк, американские нравы, гостеприимство, “необыкновенная комфортабельность обстановки”, как он пишет, “но я все это сношу как бы легкое, смягченное разными благоприятными обстоятельствами наказание. Мысли и стремление одно: домой, домой”, – и Чайковский ставит после этих слов три восклицательных знака! Получая в США письма из России, он плачет...

Тема любви к одиночеству – постоянная тема в переписке Чайковского: “Одиночеством своим я в полном смысле слова упиваюсь. Как ни хорошо жить среди близких и дорогих людей, но от времени до времени жить одному необходимо... Я живу настоящей полной жизнью, наслаждаюсь действительным счастьем только тогда, когда безусловно обеспечен от соприкосновения

с людьми, что, однако же, нисколько не мешает мне любить нескольких представителей человеческой породы больше собственной жизни”.

Лето Чайковский почти всегда проводил на Украине в имени своей сестры, а иногда фон Мекк предоставляла ему свое в Браилове. И вот, собираясь возвращаться в Москву, он планирует: “Я сразу изолирую себя и, по возможности, буду жить один”. И не ради самого одиночества Чайковский предпочитает жить один, а ради работы. Узнав, что его брат Модест занялся литературным трудом, он пишет ему: “Ради Бога, пиши свою повесть! Только труд может отвлечь мысли от несчастий и убожества человеческой жизни”.

Как всегда, всего полней раскрывает Чайковский свою душу в письме к фон Мекк. Его исповедь по поводу взаимоотношений с людьми настолько интересна, что было бы жаль не привести ее целиком: “Всю мою жизнь я был мучеником обязательных отношений к людям. По природе я дикарь. Каждое знакомство, каждая новая встреча с человеком незнакомым были для меня всегда источником сильнейших нравственных мук... Быть может, это доведенная до мании застенчивость; быть может, это полнейшее отсутствие потребности в общительности; быть может, неумение без насилия над собой говорить не то, что думаешь (а без этого никакое знакомство невозможно), словом, я не знаю, что это такое, но только, пока я по своему положению не мог избегать встреч, я с людьми встречался, притворялся, что нахожусь в этом удовольствии, по необходимости разыгрывал ту или иную роль (ибо, живя в обществе, нет ни малейшей возможности обойтись без этого), — и невероятно терзался. Единый Бог знает, сколько я страдал от этого. И если я теперь счастлив, то это именно потому, что могу жить, не видя никого, кроме тех, перед которыми я могу быть САМИМ СОБОЙ. Ни разу в жизни я не сделал ни единого шага, чтобы сделать знакомство с той или другою интересною личностью. А если это случилось само собой, по необходимости, то я всегда выносил только разочарование, тоску и утомление”. В качестве иллюстрации к этому высказыванию Чайковский приводит знакомство с Л. Толстым, огромный талант которого он очень ценил. Он отзывался о нем как о прямом и добром человеке и “по-своему даже чутким к музыке, но все-таки знакомство не доставило мне ничего, кроме тягости и мук”. И он продолжает: “Обществом человека можно наслаждаться, по-моему, только тогда, когда можешь быть самим собой...” Чайковский считал нелюдимость своего характера недостатком, он пытался избавиться от него, но убедился в бесполезности своих усилий и успокоился. “Да, я очень счастлив с тех пор, — пишет он, — как могу прятаться в своей норке и быть всегда самим собой, с тех пор, как книги, ноты составляют мое всегдашнее и почти исключительное общество. Что касается знакомства со знаменитыми людьми, то их книги, их ноты гораздо интереснее их самих”.

Через несколько лет Чайковский вновь возвращается к этой теме в письме к брату Модесту: “Живя среди людей, невозможно не лгать от первой минуты пробуждения до засыпания. Только когда мы спим, мы не лжем. Все лгут, но не всех это тяготит. Есть отличные и в своем роде правдивые люди, очень охотно мирящиеся с этим вечным враньем; других это тяготит. Что касается меня, то все больше ненавижу я жизнь в обществе. А разговоры? Когда и где (за исключением совершенно необходимого обмена мыслями) между людьми совершенно близкими разговор не бывает отвратительной комедией, имеющей тот результат, что она убивает самое драгоценное достояние наше: время? И все разговоры всегда не ведут ни к чему, кроме убивания времени”. Жаль, что Чайковский не мог знать слова Сент-Экзюпери, который считал единственной истинной радостью — радостью человеческого общения. Сент-Экзюпери сказал это много лет спустя после смерти Чайковского, а вот английская поговорка на эту же тему существовала и в его время: хорошая компания — единственное утешение в этом мире. Видимо, поглощенность Чайковского работой была так велика, что радости простых людей для него не существовали.

Среди других черт характера Чайковского можно отметить скептицизм. Как он сам говорил: “Умный человек не может не быть скептиком”. Была у него тяга делать добро. Причем он различал добрые дела, идущие от сердца, и другие, которые считал “взяткой за будущее блаженство на небе”.

Бывали у Чайковского минуты отчаяния. В одну из них он написал: “Смерть есть действительно величайшее из благ, и я призываю ее всеми си-

лами души". Эти слова были написаны 12 сентября 1877 г. в так называемый медовый месяц. Это казалось бы забавным, если бы сам Чайковский не воспринимал свою женитьбу как величайшую трагедию. Он бежит в Петербург, не помня себя от счастья, что может "хоть на один день уйти из омута лжи, фальши, притворства, в которые он попался", женившись.

Чрезвычайно остро воспринимал Чайковский не только свои несчастья, но и описания трагедий героев минувших времен. Например, читая о казни Жанны д'Арк, он разревелся: "Мне вдруг сделалось так жалко, больно за все человечество, и взяла невыразимая тоска".

В своих письмах Чайковский постоянно упоминает книги, которые он в этот момент читает или только что прочел. Одним из самых любимых писателей Чайковского был Чарльз Диккенс. Он находил, что у него много общего с Н. В. Гоголем, "хотя глубины гоголевской нет".

Выше уже упоминалось о знакомстве Чайковского с Л. Толстым. Первое впечатление было таким: "Я ужасно польщен и горд интересом, который ему (Л. Толстому. — Н. К.) внушаю и, со своей стороны, вполне очарован его идеальной личностью". По просьбе Чайковского в консерватории устроили специальный вечер для Толстого. Во время исполнения произведения Чайковского (анданте Д-дрного квартета) Толстой разрыдался при всех. В этот день Чайковский записал в своем дневнике: "Может быть, никогда в жизни я не был так польщен..."

Однако восхищение Толстым не помешало Чайковскому написать брату следующее впечатление от прочтения романа "Анна Каренина": "Как тебе не стыдно восхищаться этой возмутительно ПОШЛОЙ ДРЕБЕДЕНЬЮ, прикрытой претензией на глубину психологического анализа". После второго прочтения он изменил свое мнение на 180 градусов и всю жизнь оставался поклонником Толстого. Слова Чайковского по поводу произведения Толстого "Смерть Ивана Ильича" уже приводились в этом очерке, но хочется вторично их повторить (а еще лучше повторять и помнить их всегда): "Его одного (Л. Толстого. — Н. К.) достаточно, чтобы русский человек не склонял голову, когда перед ним вычитывают все великое, что дала миру Европа. И тут в моем убеждении в бесконечно великом, почти божественном значении Толстого патриотизм не играет никакой роли".

Чайковский мечтал составить свою библиотеку, все более убеждаясь с годами, "что сообщество книги приятнее и беседа с ней полезнее, чем сообщество и беседа людей".

Чайковский закончил Училище правоведения в Петербурге, которое, после Пажеского корпуса, считалось самым привилегированным учебным заведением России. Из его стен вышли многие государственные мужи. Вот некоторые наиболее известные имена: Победоносцев, Набоков (отец писателя), Стасов (сын архитектора, публицист и литературный критик), И. С. Аксаков (сын писателя, общественный деятель), Алехин (шахматист), Серов (композитор), Апухтин (поэт и близкий друг Чайковского), Ридигер (отец нашего недавно скончавшегося патриарха Алексия II) и многие, многие другие. За 83 года своего существования (1835—1918 г. г.) Училище выпустило две тысячи правоведов. Почти все выпускники Училища поступали на государственную службу. Считалось, что получаемое там образование — одно из лучших в России. Для подтверждения этого и приведены выше имена тех, об образованности кого может судить и сегодняшней читатель. Видимо, Чайковский предъявлял очень высокие требования к людям своего поколения вообще и, в частности, к выпускникам Училища. Вот что он писал по этому поводу в 1867 г. брату: "Боже! Какими мы выходим невеждами из Училища, и до какой степени мною овладел ужас, когда пришлось встретить начитанного просвещенного человека! Скажу тебе: "Читайте, мои милые, читайте и внимайте!"

Вот некоторые авторы и их произведения, упомянутые Чайковским в его письмах: Диккенс, в любви к которому Чайковский признается неоднократно; Ж.-Ж. Руссо, чью "Исповедь" он читал по-французски, она ему понравилась. Он отмечает красоту стиля Руссо, "глубину и правдивость анализа человеческой души", но его несколько шокируют "цинические признания", соседствующие с "ежеминутными проблемами гения". Один из его любимых писателей — госпожа Хвощинская, издаваемая под фамилией Крестовский. "Очень талантливая женщина", — замечает Чайковский и перечисляет ее произведения: "Семья и школа", "В ожидании лучшего", "Большая медведица". (Эн-

циклопедический словарь дает двойную фамилию этой писательницы: Зайончковская – Хвоцинская, а псевдоним – Крестовский).

Очень часто литературные вкусы Чайковского идут вразрез с тем, чему учили в школе советского периода. Например, вот какое впечатление произвел на него роман В. Гюго “Труженики моря”, который он читал по-французски: “Читал и злился на его кривляния, ломания. Наконец, как-то ночью, после целого ряда бессмысленных фраз, я в бешенстве начал харкать и плевать на книгу, изодрал ее в клочья, топтал ногами и выбросил за окно. С тех пор я не могу видеть на обложке имя Гюго, а уж читать никакими калачами не заманишь”. А дальше обращается к брату: “И поверь, что твой Золя, в сущности, тот же фигляр, только в новейшем духе. Он мне еще не так омерзителен, как Гюго, но почти так же. Он мне противен, как бывают противны девицы, разыгрывающие из себя ПРОСТЫХ и естественных, будучи, в сущности, кокетками и ломачками. (А слово-то какое выкопал! – Н. К.) Вообще, насколько я люблю французов в музыке, настолько гадка их литература и журналистика”.

Своей любви к Диккенсу Чайковский не изменял до конца жизни: “... пишу ночью, с невысохшими слезами на глазах. Только что окончил “Холодный дом” и немного плакал. Жалко расставаться со всеми этими лицами, с которыми я прожил два месяца”. Чайковский испытывает умиление и благодарность к Диккенсу: “От первой до последней страницы испытал столько наслаждения!”

Возвращаясь к оригинальности литературных вкусов Чайковского, нельзя не привести пример его отношения к Н. А. Некрасову, кумиру нигилистов XIX века, так ненавистных Чайковскому, и опоре послереволюционного “трона” в России. Как должны удивить слова Чайковского выпускников школ советского периода: “Я никак не могу забыть, что Некрасов – этот защитник слабых и угнетенных, этот демократ, этот негодующий каратель барства во всех его проявлениях, был в жизни настоящий барин, т. е. проигрывал и выигрывал сотни тысяч рублей в карты, очень ловко затевал и приводил в исполнение литературные аферы, не хуже Краевского, умел чужими руками жар загребать” и т. д. Затем Чайковский приводит пример лицемерия Некрасова, когда в 1864 г. на чествовании Муравьева в Английском клубе он прочел стихи в честь его деятельности по усмирению мятежа, тогда как всем было известно, что он не сочувствовал ему и в глубине души его ненавидел. (Речь идет о подавлении Муравьевым польского восстания 1863–64 годов.) Чайковский признается, что он не может отделить в писателе литературные качества от человеческих. “Кроме того, – продолжает он, – меня смущает в его поэзии какая-то фальшь, напускная слезливость, натянутость, отсутствие НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ, которая свойственна настоящим художникам, не изломанным и не исковерканным ТЕНДЕНЦИОЗНОСТЬЮ”.

Досталось от Чайковского и Альфонсу Доде после прочтения его “Сафо”. Он признает за Доде талант, но возмущается нравственной стороной его произведения: “В сущности, угождая развращенному вкусу своей публики, он цинически откровенно рассказывает, как в Париже занимаются развратом, а притворяется, что пишет урок для своих сыновей, и хочет, чтобы думали, что им руководили нравственные цели и высокие побуждения, способные оттолкнуть молодых людей от разврата”. Чайковский называет это фарисейством и мнимой добродетельностью автора. По его мнению, у Доде была цель “написать книгу, заманчивую для развращенной французской публики, и жить как можно больше денег”.

Доде, Золя, Мопассан Чайковский относит к “новой французской школе” и считает, что внешняя правдивость является прикрытием лживой сущности их произведений.

А вот любителям С. Т. Аксакова не придется обижаться на Чайковского. Читая “Семейную хронику”, он наслаждается: “Что за чудесное своеобразное произведение, и как я люблю подобные вещи! Проникнуть в чужую жизнь до самой интимной глубины ее, да еще вдобавок в далеком прошлом, – это для меня громаднейшее наслаждение”.

С большим уважением и сочувствием относился Чайковский и к сыновьям С. Т. Аксакова. Это и не удивительно, так как они все относились к славянофилам, о чем речь впереди.

Уже незадолго до смерти в письме к великому князю К. Романову Чайковский еще раз отдает дань своему восхищению Л. Толстым: “Толстого бесконечно читал и перечитывал и считаю его величайшим из всех писателей на

свете, бывших и существующих теперь... Толстой взирает на изображаемых им людей с такой высоты, с которой люди эти кажутся ему бедными, ничтожными, жалкими пигмеями, в слепоте своей бесцельно и бесплодно злобствующими друг на друга, — и ему их жаль. У Толстого никогда не бывает злодеев; все его действующие лица ему одинаково милы и жалки, все их поступки суть результат их общей ограниченности, их наивного эгоизма, их беспомощности и ничтожности". Уже в конце жизни он снова страстно нападает на "новую французскую школу" в лице Золя. Вот как он отзывался о его романе "Человеческий зверь", который он читал по-французски, как и другие произведения французских авторов: "Удивляюсь, как можно относиться к Золя серьезно, как к великому писателю. Что может быть лживее и невозможнее, как основа этого романа? В нем есть сцены, где действительность изображена верно и живо. Но сама суть до того лжива, что невозможно ни на секунду принять живое участие в делах действующих лиц. Это просто уголовный роман а la Гаврио, уснащенный похабством".

* * *

Чайковский не щадит не только писателей, но и композиторов. Например, признавая за Мусоргским талант и самобытность, он упрекает его в излишнем самомнении: "По таланту выше всех, но слишком уверовал в свою гениальность". Чайковский называет его "низменной натурой, любящей грубость", "кокетничающей своей безграмотностью".

Достается и второму представителю Могучей кучки, Балакиреву. Называя его "самой крупной личностью кружка", "огромным талантом", Чайковский считает, что его талант погиб: какие-то роковые обстоятельства сделали из него "святошу": "Он теперь не выходит из церкви, говеет, кланяется мощам — и больше ничего", — хотя раньше кичился полным неверием.

Из всех русских композиторов Чайковский выше всего ставил М. И. Глинку. О его "Славься" он писал так: "...архигениальное, стоящее наряду с высочайшими проявлениями творческого духа великих гениев". "Удивительные красоты" находит Чайковский в операх и увертюрах Глинки. "Камаринскую" он называет "поразительно оригинальной, из которой все русские позднейшие композиторы (и я, конечно, в том числе) до сих пор черпают самым явным образом контрапунктические и гармонические комбинации. Глинка сумел в небольшом произведении сконцентрировать все, что целые десятки второстепенных талантов могут выдумать и высидеть ценой сильного напряжения". И при всем при том Чайковский упрекает Глинку даже в пошлости в его мелких произведениях. Считая его добрым и милым человеком, Чайковский упрекает его в самообожании, в мелочном тщеславии, в болезненной обидчивости и даже в малоразвитости.

Заканчивает Чайковский свою характеристику Глинки так: "Все эти качества обыкновенно бывают делом посредственности; но каким образом они могли вместиться в человека, который должен был с спокойной и горделивой скромностью сознавать свою силу, этого я не понимаю". Пишет Чайковский о Глинке и в дневнике за 1888 г.: "Меня просто до кошмара тревожит вопрос, как могла совместиться такая колоссальная художественная сила с таким ничтожеством (в моральном и интеллектуальном смысле. — Н. К.) и каким образом, долго быв бесцветным дилетантом, Глинка вдруг одним шагом стал наряду (да, наряду!) с Моцартом, Бетховеном и с кем угодно. Это можно, без всякого преувеличения, сказать про человека, написавшего "Славься". Никто более меня не любит и не ценит Глинки. "Славься" есть нечто подавляющее, исполинское. И ведь образца не было никакого ни у Моцарта, ни у Глюка, ни у кого из мастеров. Не меньшее проявление необычайной гениальности есть "Камаринская". Так, МЕЖДУ ПРОЧИМ, нисколько не собираясь написать нечто, превышающее по задаче простую, шутивную безделку, — этот человек дает нам небольшое произведение, в коем каждый такт есть продукт сильнейшей творческой (из ничего) силы. Почти 50 лет с тех пор прошло; русских симфонических сочинений написано много; можно сказать, что имеется настоящая симфоническая школа. И что же? Вся она в "Камаринской", как дуб в желуде. И долго из этого богатого источника будут черпать русские авторы. Да! Глинка — настоящий творческий гений".

В основном он отзывался о людях с мягкостью и больше обращает внимания на достоинства, Примером тому может служить великий князь Константин Константинович, известный как поэт, подписывающий свои стихи двумя буквами “К.Р.” В 1884 г. между ними возникла переписка, прервавшаяся только смертью Чайковского. Многие стихи К. Р. были положены на музыку Чайковским. Он находил великого князя “симпатичным и очень музыкальным”. Симпатия была взаимной до такой степени, что, отправляясь в кругосветное путешествие на три года, К. К. предложил Чайковскому присоединиться к нему, но Чайковский на это не решился, убоявшись “темницы в каюте корабля”.

* * *

Годы жизни Чайковского совпали с периодом расцвета славянофильства, к которому пришла русская общественная мысль второй половины XIX века. В его письмах есть упоминания самого младшего из славянофилов – Ивана Сергеевича Аксакова, с работами которого Чайковский был знаком и живо отзывался на появлявшиеся в печати сообщения о неприятностях Аксакова с цензурным комитетом. Будучи большим русским патриотом, любя русский язык, природу, народ, Чайковский не мог не сочувствовать идеям славянофилов. Выше упоминалось, как он переживал перипетии русско-турецкой войны за освобождение Болгарии, как его ранила враждебность западноевропейской прессы к России. Но ярче всего проявились взгляды Чайковского на славянство, на отношения между славянами в его письмах из поездки по Европе в 1888 г. Ни один русский патриот не может оставаться к ним равнодушным. Особенно, когда сравниваешь то, что описано Чайковским, с тем, что мы видим сегодня...

Первая страна, где остановился Чайковский, была Чехия. Описывая встречу его на вокзале в Праге, Чайковский упоминает речи на русском и чешском языках; детей, подносящих ему букеты цветов; громадную толпу, кричащую “Слава!” По дороге от вокзала к гостинице пражане стояли двумя сплошными стенами и приветствовали Чайковского. Вечером его пригласили в театр на оперу Верди “Отелло”. Ему была предоставлена ложа. Глава правительства Чехии, господин Ригер первым пришел знакомиться и приветствовать Чайковского. И он сам, и его дочь говорили по-русски. Затем через ложу прошла целая вереница выдающихся деятелей Чехии. После спектакля в гостинице состоялась многолюдный ужин. Чествования в Праге превзошли самые смелые ожидания Чайковского. Сам композитор и его брат Модест считали, что овации на 9/10 относились не к Чайковскому, а к России, но ему было чрезвычайно приятно, что чехи сочли именно его достойным для проявления своих чувств. Люди, десятки лет прожившие в Праге, говорили Чайковскому, что они не видели подобного чествования какого-либо иностранца. А в России в это время даже не упоминалось, что Чайковскому было “больно и обидно”, как пишет Модест.

Особенно оценил Чайковский теплоту пражского приема, сравнив его с французским, хотя французы проявляли не меньше восторга по его адресу. Чайковский пишет, что любовь чехов гораздо глубже, что нет второго такого народа, “где бы все русское встречало более сочувствия в силу кровного родства с нами”. Увы! Как далеко в прошлом все это осталось... Чайковский считал, что настоящая славянская натура должна обладать, в первую очередь, такими чертами характера, как благородство и великодушие.

* * *

Есть категория любителей музыки, не признающих оперу или ставящих ее ниже музыки симфонической. Одной из них была и фон Мекк, которая высказала это свое отношение в письме к Чайковскому. И вот что он ответил: “Мне нравится высокомерное отношение Ваше к опере”. Сам Чайковский считал ее “ложным родом искусства”, но объяснял неудержимое стремление к ней всех композиторов тем, “что только она одна дает вам средство общаться с массами публики... Только опера делает вас достоянием всего народа”. Чайков-

ский считал это стремление расширить круг слушателей совершенно естественным, но предостерегал от погони за внешними эффектами, советовал выбирать сюжеты, не только имеющие художественную ценность, но и задевающие слушателей за живое. Одним из таких сюжетов Чайковский считал “Пиковую даму”. В письме к К. Р. он признавался, что писал ее “с небывалой горячностью и увлечением”, что он “перестрадал и перечувствовал все, происходящее в ней” и был уверен, что его волнения и восторги обязательно отзовутся в сердцах слушателей. В еще более сильных выражениях пишет Чайковский о создании оперы “Евгений Онегин”: “Я таял и трепетал от невыразимого наслаждения, когда писал ее”. Он говорит об искреннем увлечении и любви к сюжету и к действующим лицам этой оперы.

Если оперу Чайковский называл “ложным родом искусства”, то самым естественным и самым народным жанром он считал песню. Свои мысли о роли песни, о ее месте в народной жизни он высказал в интервью, которое взял у него американский журналист по прибытии Чайковского в США. “Песня является неизменным спутником русской жизни от колыбели до гроба”. Все события жизни находят свое отражение в песне. И любовь простого русского человека к национальным мелодиям разделяют и образованные соотечественники.

Какой национальной трагедией показалось бы Чайковскому сегодняшнее полное забвение русской народной песни, которую уже не услышишь по радио, которую уже не поют за столом, да и сами-то застолья сохранились ли? А между тем современные чисто научные изыскания показали, какую роль играет песня в жизни любого человека, сохраняя, поддерживая его физическое и душевное здоровье. Сейчас доказано ее благотворное влияние не только на работу всех внутренних органов человека, но даже на укрепление его иммунной системы.

* * *

Трудно представить себе человека, более поглощенного своим музыкальным трудом, чем Чайковский. В музыке была его жизнь, ради музыки отгораживался он от общества, искал уединения, в ней находил забвение от всех житейских неудач и трудностей. И параллельно с этим он писал: “Странная вещь эта работа! Пока ее делаешь, все мечтаешь о невероятном блаженстве, которое наступит, когда ее кончишь. И как только кончил, является тоска, скука, хандра и ищешь исцеления опять в работе”. Поглощение Чайковского работой композитора было так велико, что стоило ему остановиться, не работать, как он начинал себя презирать, “впадать в несколько преувеличенное отчаяние от мысли о своем ничтожестве и недостойности”.

Резкие перепады настроения вообще были свойственны Чайковскому. Его постоянно мучили разного рода сомнения. Сегодня ему хотелось одиночества, а завтра он бежал от него. То его тянуло в деревню, то казалось “блаженством” быть в городе. Иллюстрацией к этому может служить его запись в дневнике, относящаяся к 1887 г.: “Вся поэзия жизни в деревне и в одиночестве почему-то пропала. Я НИГДЕ СЕБЯ ТАК СКВЕРНО НЕ ЧУВСТВУЮ, как дома. Как только не работаю — тоска, страх за будущее и т. д. Уж полно, так ли, что мне следует жить в одиночестве?”

Большим своеобразием отличались взгляды Чайковского по отношению к живописи. Живя во Флоренции, он посещал тамошний музей Уффици, проводя там иногда целое утро. После одного из посещений он пишет Модесту, что наслаждался там, но “совсем не тем, чем остальное человечество. Должен сознаться, что живопись, особенно старая живопись, недоступна моему пониманию и оставляет меня холодным... Но зато я нашел там соответствующий моим вкусам источник наслаждения. Сегодня целых два часа провел над рассматриванием портретов разных пап, принцев, королей и разных исторических лиц. Никто, кажется, никогда на них не смотрит. А между тем страшно интересно. Иные стоят или сидят, как живые”. Понравился ему, например, портрет Екатерины Первой. Из старой живописи его любимой картиной был “Эндимион” Гверчино: “Теперь он наверху, рядом с уродами Кранаха”.

Не менее оригинально написал как-то Чайковский своей родственнице о детях: “Боже, как дети очаровательны! Лучше их разве только маленькие собачки. Но те просто перлы создания!”

А разве не покажется диким сегодняшним нуворишам такое высказывание Чайковского: “Иметь собственность все-таки стеснительно, и только тот может считать себя свободным, кто таковой не имеет”.

Наверное, не всем понравится и определение римского карнавала на Корсо, свидетелем которого был Чайковский: “Ни с чем не сравнимое беснование”. (Интересно было бы узнать его оценку нынешним “беснованиям”).

Своей музыкой Чайковский сумел выразить, запечатлеть самые разнообразные человеческие чувства. А что ощущал он сам, творя свои музыкальные произведения? Примерно такой вопрос задала ему однажды в письме фон Мекк. И вот что он ей ответил: “Напрасно я пытался бы выразить словами все неизмеримое блаженство того чувства, которое охватывает меня, когда явилась новая мысль и когда она начинает разрастаться в определенные формы. Забываешь все, делаешься точно сумасшедший, все внутри трепещет и бьется, едва начинаешь эскизы, одна мысль погоняет другую. Иногда, посреди этого волшебного процесса, вдруг какой-то толчок извне разбудит от этого состояния сомнабулизма: кто-то звонит, войдет слуга, прозвенят часы и напомнят, что нужно идти по делу. Тяжелы, невыносимо тяжелы эти перерывы! Иногда на несколько времени вдохновение отлетает: приходится искать его и подчас тщетно. Весьма часто совершенно холодный, рассудочный, технический процесс работы должен прийти на помощь. Может быть, вследствие этого и у самых великих мастеров можно проследить моменты, где недостает органического сцепления, где замечается шов, части целого, искусственно склеенные. Но иначе невозможно. Если бы то состояние души артиста, которое называется ВДОХНОВЕНИЕ и которое я сейчас пытаюсь описать Вам, продолжалось бы непрерывно, нельзя было бы и одного дня прожить. Струны лопнули бы, и инструмент разбился бы вдребезги. Необходимо только одно: чтоб главная мысль и общие контуры всех отдельных частей явились бы не посредством искания, а сами собой, вследствие той сверхъестественной, непостижимой и никем не разъясненной силы, которая называется ВДОХНОВЕНИЕМ”.

* * *

Переписка у Чайковского была очень большая по количеству писем, а вот постоянных адресатов было не так много. Главным был младший брат Модест, с которым Чайковский был особенно близок душевно. Но львиная доля того, что мы узнаем о композиторе по его письмам, содержится в письмах к Надежде Филаретовне Фраловской, по мужу фон Мекк, ко времени знакомства с Чайковским вдове с 11 детьми. Эта дама была знатоком музыки, сама играла на рояле, очень глубоко чувствовала музыкальные произведения, постоянно помогала нуждающимся студентам консерватории. В музыкальном мире у нее было множество знакомых. Кто-то из них и рассказал ей о материальных трудностях Чайковского, музыку которого она уже знала. Для начала Н. Ф. заказала ему какие-то пустячные музыкальные работы и щедро их оплатила. Он ее поблагодарил письмом, она ему ответила... Так завязалась переписка. Предварительно Н. Ф. собрала о Чайковском сведения у многих общих знакомых. Первыми письмами обменялись в 1876 г. Сразу было условлено, что встречаться они не будут никогда, а встретившись случайно в общественном месте, будут делать вид, что не знакомы. Очень скоро после начала переписки Н. Ф. предложила Чайковскому постоянную материальную помощь, после чего переводила ему по 3, потом по 6 тысяч в год. Это позволяло композитору безбедно существовать и ездить за границу. Кроме того, Н. Ф. предоставляла ему поочередно свои имения на Украине, где ему в одиночестве одинаково хорошо работалось и отдыхалось. Переписка становилась все более откровенной. Чайковский и Н. Ф. обменивались мнениями не только о музыке, но и о литературе, живописи, о международном и внутреннем положении России, о религии и о многом другом. Несколько симфонических произведений Чайковский посвятил Н. Ф., но без упоминания ее имени, а просто: “Моему другу”, как они условились с общего согласия. То есть и здесь соблюдалась тайна их отношений. Делился Чайковский с Н. Ф. и своими очень личными переживаниями в период своей неудачной женитьбы и усилий вернуть себе не только фактическую, но и формальную свободу, так как для него бы-

ло настоящей пыткой даже воспоминание о том “омуте лжи, фальши и притворства”, в который он попал женившись.

И длилась эта идиллия 13 лет. А 13 сентября 1890 г. Чайковский получил последнее письмо от фон Мекк, в котором она объявила ему, что запутанность ее дел, грозящая разорением, не позволяет ей продолжать оказывать Чайковскому финансовую помощь.

Сначала он принял указанную причину за чистую монету и хотел продолжать переписку по-прежнему. Но фон Мекк ему не ответила. Тогда он написал письмо своему приятелю, зятю фон Мекк, Пахульскому. Тот возвратил письмо Чайковскому, не показав фон Мекк. Очевидно, на этот счет у них была предварительная договоренность. А. Чайковский в этом письме писал: “Мне казалось, что скорее земной шар может рассыпаться в мелкие кусочки, чем Н. Ф. сделается в отношении меня другой”. Невозможность достучаться до Н. Ф., узнать истинную причину разрыва их отношений лишила его спокойствия, отравляла существование. “Никогда не чувствовал себя столь униженным, столь уязвленным в своей гордости, как теперь. И тяжелее всего то, что, ввиду расстроенного здоровья Н. Ф., я не могу, боясь огорчить и расстроить ее, высказать ей все то, что меня терзает”. Получив свое письмо обратно, Чайковский больше не обращался к фон Мекк. Но это оскорбление, эта обида омрачала его последние годы. Он понял, что от него просто отделились, что он идеализировал отношения с Н. Ф. Как пишет Модест, “раньше он не тяготился подачкой, но, узнав, что причиной прекращения выплат было не разорение, он стал ретроспективно тяготиться”. “Он точно проснулся и вместо чудного сна увидел” банальную действительность, от которой ему стало “стыдно и тошно”, – в таких выражениях передает Модест чувства Чайковского, основываясь на его письмах.

В предсмертном бреде Чайковский постоянно произносил имя Н. Ф., гневно упрекая ее. Он скончался 24 октября 1893 г., а через три примерно месяца умерла и Н. Ф. фон Мекк.

* * *

Завершая рассказ о том, каким предстает Чайковский в своих письмах, нельзя не привести еще одной длинной цитаты из его письма, написанного в 40-летнем возрасте. Это ответ на вопрос Н. Ф. об отношении Чайковского к славе: “Я не только люблю СЛАВУ, она составляет цель всей моей деятельности. Но, увы, стоит мне подумать, что с увеличением моей авторской известности увеличивается и интерес к моей личности в приватном смысле, что я на виду у публики, что найдутся всегда праздно любопытствующие люди, готовые приподнять завесу, которой я стараюсь заслонить свою интимную жизнь, и меня тотчас берет тоска, отвращение и даже желание замолчать навсегда или надолго, чтобы меня оставили в покое. Мысль, что когда-нибудь я в самом деле добыюсь частичной славы, и что интерес к моей музыке возбудит интерес к моей персоне, очень тягостна для меня. Не от того, что я боялся бы света! Я могу, положа руку на сердце, сказать, что совесть моя чиста и что мне нечего стыдиться, но думать, что когда-нибудь будут стараться проникнуть в интимный мир моих чувств, мыслей, во все то, что в течение жизни я так бережно таил от соприкосновения с толпой, – очень тяжело и грустно”. В этом письме Чайковский сравнивает себя с бабочкой, которая стремится в огонь (к славе, в его случае) и обжигает крылья. Эти периоды жажды славы сменялись совсем иными: “Иногда меня охватывает безумное желание навсегда куда-нибудь скрыться, заживо умереть, чтобы не видеть всего, что делается... Но, увы, является порыв к творчеству, и я опять лечу и снова обжигая крылья”.

Извинением появления этой попытки проникнуть во внутренний мир Чайковского, чего он так боялся, так не хотел, может служить то, что первым это сделал его любимый брат, Модест Ильич, собрав и снабдив своим объяснениями и дополнениями письма Чайковского. Вторым оправданием этой попытки служит то, что очерк не касается интимных сторон жизни Чайковского. А в-третьих, он писался с чувством глубокого уважения к личности композитора, к его внутреннему миру. Может быть, прочитав его, Чайковский и не причислил бы автора к “праздно любопытствующим людям”, чьего прикосновения он так боялся?